

Лев Николаевич Толстой

# Записки христианина

# **Толстой Лев Николаевич**

## **Записки христианина**

Толстой Лев Николаевич  
Записки христианина

Знаю, что за это заглавие меня осудят. Одни -- большая часть -- скажут: пора уж эти глупости оставить. Нынче все понимают, что христианская вера -- одна из религий. А все религии -- суеверия, то самое зло, которое больше всех мешает развитию человечества. Другие скажут: как христианина? Кто может сказать про себя: я христианин? Настоящий христианин прежде всего смиренен и не дерзает называть себя и печатно объявлять христианином. Пускай судят, я все-таки выставляю это заглавие. Я не боюсь осуждения в отсталости потому, что не только не считаю религию суеверием, но напротив, [считаю,] что религиозная истина есть единственная истина, доступная человеку, христианское же учение считаю такой истиной, которая -- хотят или не хотят признавать это люди -- лежит в основе всех людских знаний, и не боюсь осуждения в гордости названия себя христианином, потому что я понимаю слова: я христианин иначе, чем они обычно понимаются.

Слова: я христианин обыкновенно пони-

маются или так: я крещен, следовательно я христианин, или если тот, кто крещен, говорит я христианин, то слова эти понимают так, что он как будто говорит то, что он, кроме крещения, чем-то особенно христианин, и будто хвастается, что он исполнил учение, и действительно говорит или бессвязные, или безумно-гордые слова. Но я понимаю слова: я христианин иначе. Я был крещен и прожил жизнь язычником и потому не считаю христианином того, кто крещен, и говоря: я христианин, я не говорю ни то, что я исполнил учение, ни то, что я лучше других, я говорю только то, что смысл чел[овеческой] жизни есть учение Христа, радость жизни есть стремление к исполнению этого учения и потому всё, что согласно с учением, мне любезно и радостно, всё, что противно, мне гадко и больно.

И я пишу это заглавие, потому что оно вполне выражает смысл моих записок.

Я прожил на свете 52 года и за исключением 14-и, 15-и детских, почти бессознательных, 35 лет я прожил ни христианином, ни магометанином, ни буддистом, а нигилистом в са-

мой прямо и настоящим значении этого слова, т. е. без всякой веры.

Два года тому назад я стал христианином. И вот (Зачеркнуто в рукописи N 2: в эти два года вся моя жизнь переменялась) с тех пор всё, что я слышу, вижу, испытываю, всё представляется мне в таком новом свете (Зач.: не только для меня, но и для всех тех, кому я сообщая мои впечатления), что, мне кажется, этот новый взгляд мой на жизнь, происходящий от того, что я стал христианином, должен быть занимателен, а может быть, и поучителен, и потому я пишу эти записки. О том, как я сделался из нигилиста христианином, я написал длинную книгу. В книге этой я подробно описал то, как я больше 30 лет прожил, пользуясь всеобщим уважением, даже похвалами за мои сочинения, совершеннейшим нигилистом. Слово нигилист у нас принято теперь употреблять в смысле социал-революционера; но я употребляю его в его настоящем значении - неверия ни во что, кроме мамона. Там, в этой книге, я описываю, как я таким нигилистом прожил 35 лет, как я написал в поучение русских людей 11-ть томов со-

чинений, за которые, кроме всякого рода восхвалений, получил тысяч полтораста денег, (Зач.: и как я потом чуть было не повесился, когда хватился, что кроме брюха я ни во что не верю и как) как я убедился, что не только ничему не могу учить людей, но решительно сам не имею ни малейшего понятия о том, что я такое, что хорошо, что дурно. И как, убедившись в своем незнании, не видя из него выхода, я пришел в отчаяние и чуть было не повесился, и как потом (Зач: шаг за шагом) различными мучительными и сложными путями пришел к вере в христианское учение, и как я понял это учение. Книги этой, как мне говорили, напечатать нельзя. Если я хочу описывать, как дама одна полюбила одного офицера, это я могу (Зачеркнуто: Если я хочу доказывать пользу или вред земства или классического образования, я могу); если я хочу писать о величии России и воспевать войны, я очень могу; если я хочу доказывать необходимость народности, православия и самодержавия, я очень и очень могу. Если хочу доказывать то, что человек есть животное и что кроме того, что он ощущает, в жизни ни-

чего нет, я могу; если хочу говорить о духе, начале, основах, об объекте и субъекте, о синтезе, о силе и материи, и, в особенности, так, чтобы никто ничего не мог понять, я могу. Но этой книги, в которой я рассказывал, что я пережил и передумал, я никак не могу и думать печатать в России, как мне сказал один опытный и умный старый редактор журнале. Он прочел начало моей книги, ему понравилось. Так как он просил моего сотрудничества, я сказал: так вот, напечатайте. Он поднял руки и воскликнул: "Батюшка! Да за это и журнал мой сожгут, да и меня с ним". -- Так я и не печатаю.

Я знаю, что мысль, если она настоящая, не пропадет, и потому книгу я отложил; и знаю, что если там есть настоящая мысль, то правда со дна моря выплывает; и труд мой, если в нем правда, не пропадет.

Но пока это будет, мне кажется, что, сообщивши столько дребедени -- и боюсь, что вредной и соблазнительной дребедени, -- русским читателям, мне следует сообщить им и тот мой новый взгляд на мир, который дали мне мои христианские убеждения; тем более,

что взгляд этот, мне кажется по тем беседам, какие мне случалось вести в эти два, три года, не очень распространен и не бесполезен другим.

Записки мои будут именно записки, почти дневник тех событий, которые совершаются в моей уединённой деревенской жизни. Я буду писать только то, что было, ничего не прибавляя и не придумывая, буду писать так, как будто ожидаю, что всё, что я пишу, будет проверяться и исследоваться. Время, место, имена, лица -- всё будет настоящее. Не буду выбирать событий и дней, а буду писать подряд то, что случается, по мере того, как я буду успевать записывать.

8-го апреля. Это я написал утром, не зная, что я буду писать под этим днем, и вот нынче, 9-го апреля, я описываю то, что было вчера. Вчера я, по обыкновению, после моих занятий в 5-м часу вышел на крыльцо. (В рукописи. N 2 зачеркнуто: Ко мне ходит народ за разными делами в, так как от 12-тч и до 4-х я бываю занят, то в 5-м часу иногда собираются довольно много людей. Выходишь обыкновенно усталый после работы, с желанием от-

дохнуть, а тут надо слушать, беседовать и всегда досадно.

По зачеркнутому рукой Толстого написано: Так как соседи мои, те которые хотят меня видеть, знают, что я занят до 4-х часов, то обыкновенно я нахожу гостей иногда в передней, иногда

В этой фразе со слов: знают, кончая; иногда по ошибке осталось не зачеркнутым). В 5-м часу те, кому нужно, знают, что я свободен, и ждут меня.

Так было и вчера. Выходя, я (Зач.: глянул сквозь стеклянную дверь, никого не видно. Только) увидел мальчика старшего Ларивонова, он сидел на столбике ворот и очевидно ждал меня. (Зачеркнуто: Ну, этот не знает времени, подумал я. Кто этот мальчик и зачем он ждет меня -- я расскажу после. Вижу, только этот мальчик, да через порог тень от палки. Видно, стоит, кто-нибудь ждет у крыльца, опираясь на палку. Я вышел) И еще за дверью кто-то стоял. Видна была тень от палки, на которую опирался кто-то. Ларивонов мальчик это старший из сирот, оставшихся после мужика солдата, кучера, нынче осенью умерше-

го в остроге. Он ждал, чтобы попросить у меня 10 коп. на лапти.

Ларивон и его сироты вот что. 20 лет тому назад я был посредником. Не помню, как и через кого попал ко мне кучером только что вышедший в бессрочные артиллерист Лариной, из деревни Троены, за 8 верст от меня. Тогда я воображал, что освобождение крестьян есть очень важное дело, и я весь был поглощен им, и Ларивон, кот[орого] я подолгу во время наших переездов видал перед собой на козлах, мало занимал меня. Помню, молодцоватый высокий парень-щеголь. Он завел себе шляпу с павлиньими перьями, красную рубашу и безрукавку. И помню, едем мы раз, встречаем баб, и они что-то сказали. Ларивон обернулся ко мне и, улыбаясь, говорит: -- вишь, говорят, не на барина смотреть, а на кучера. Помню я его тщеславную добродушную улыбку, помню всегдашнюю расторопность, исправность, веселость и, хоть и привычную нам, но в Ларивоне поражавшую смелость. Была пристяжная кавказская, гнедая, злая лошадь. Завизжит, бывало, и бьет нарочно в человека, когда попадет постромка за ногу пли

возжа под хвост. Ларивон подходил к заду и как о теленком обращался ос ней. Так он и отслужил у меня, пока я не уехал. И осталось у меня воспоминание славного, доброго, веселого и хорошего парня. Такой он и был.

В нынешнем году осенью пришла Тита Борискина (наш мужик) баба. Старушка старого завета, тихая, кроткая, ласковая, иссохшая в щепку, всё желтое лицо в морщинках, морщинах ибуграх между морщинами. -- Что скажешь? -- Да об своей горькой вдове -- Ларивоновой. Дочь она мне, за Ларивоном была, кучером жил у вас.

Я вспомнил с трудом Ларивона.

-- Умер он.

-- Давно ли? Отчего помер?

-- Бог его знает, сказывали, чахотка со скуки напала.

-- Какая же скука, отчего?

-- Как же, 2-й год в замке.

-- За что? Ведь он, кажется, хороший был малый.

-- Малый такой, что на редкость, одно -- выпивал, -- оно, вино, и стубило. А теперь дочь осталась, а ее деверь гонит, дочь мою. А куда

она сама пята пойдет? Самой 2-их еще прокормить, а пятерых где ж прокормить. А наше дело тоже бедное.

Я стал расспрашивать, и вот что мне рассказала старуха. Ларивон после меня женился на ее дочери, завелся хозяйством с братом и жил хорошо. Но человек, уже оторванный от своей прежней жизни, изломанный солдатством, он дома уже был не жилец, и его опять тянуло в должность, чисто ходить, сытней есть, чай пить. Брат отпустил его, и он поступил в кучера к очень хорошему человеку, Миров[ому] Судье. Опять, как со мной, он стал ездить, щеголять в безрукавке. И Мир[овой] С[удья] был им доволен. Случилось раз отправил Мировой Судья лошадей домой и велел покормить дорогой на постоялом. Ларивон покормил, но на четверку овса показал, а не скормил и выпил на эти деньги. Узнал это Мир[овой] Судья. Как поучить человека, чтоб он таких дел не делал? Прежде были розги, теперь суд. Мировой Судья подал товарищу прошение. Мир[овой] С[удья] надел цепь, вызвал свидетелей, привел к присяге кого следует, предоставил право защите, встал и дв

зу Е[го] И[мператорского] Величества] приговорил к меньшей мере наказания, пожалел человека, на два месяца в острог в г. Крапивну.

Я был в этом остроге и знаю его. Знаю запах этого острога, знаю пухлые, бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параши в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, 5--сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили. Туда попал Ларивон и снял поддевку, красную рубаху, надел вшивую рубаху и халат и попал в рабство к смотрителю. -- Зная тщеславие, самолюбие Ларивона, я могу догадываться, что с ним сделалось. Теща его говорила, что он и прежде пивал, но с тех пор ослаб. Несмотря на то, что он ослаб, М[ировой] С[удья] взял его опять к себе, и он продолжал жить у него, но стал больше пить и меньше подавать домой брату. Случилось ему отпроситься на престольный праздник. Он напился. Подрались мужики и одного прибили больно. Опять пошло дело к

Мир[овому] С[удье]. Опять цепь, опять при-  
сяга, опять по указу Е[го] Императорского]  
В[еличества]. И Ларивона посадили на 1 [год]  
и 2 месяца. После этого он вышел, уже вовсе  
ослабел. Стал пить. Прежде и выпьет -разума  
не теряет, а теперь стакан выпьет и пьян -- не  
стали его уж и держать в кучерах. От работы  
отбился. Работал с братом через пень колоду.  
И только и норовил, чтобы где выпить.

Старуха рассказывала, как в последнее она  
видела его на воле.

-- Пришла я к дочери. У них сватьяба была у  
соседа. Пришли со сватьябы, легли. Ларивон  
просил 20 к. на выпивку, ему не дали. Лег он  
на лавке. Старуха рассказывала. Только стал  
свет брезжиться, слышу Ларивон встал, за-  
скрипели половицы, пошел в дверь. Я еще  
окликнула его: куда, мол. Голоса не отдал и  
ушел. Только мы полежали, поднялась я. Слы-  
шу на улице крик -вышла. Идет Ларивон и на  
спине борону несет, а вдовая дьячиха за ним  
гонит, кричит караул, замок в клетки сломал,  
борону украл. А уж белый свет. Собрался на-  
род, староста, взяли, связали, отправили в  
стан. Потом уж и дьячиха тужила, не знала,

что будет за борону. Не взяла бы, говорит, греха на душу.

Повели Ларивона в острог. Суда дожидался 6 месяцев, вшей кормил, потом опять присяга, свидетели, права -- и по указу Е[го] И[мператорского] В[еличества] посадили Лари[вона] в арестантские роты на 3 года. Там он не дожил 3 лет, помер чахоткой.

Я вышел. Константин. Константин невысокий, скуластый мужик лет 35 с маленькой рыжеватой бородкой, большими глазами, ноздрями и губами. Константин в нашей деревне хоть не самый бедный, есть беднее, но, на мой взгляд, самый жалкий мужик. Но жалок он только на мой взгляд. Сам же он никогда не признавал себя жалким. Только нынешний год в первый раз нужда сломила его. И он, всегда бодрый, чудной шутник, ослабел и нынче зимой, когда я, перебивая его шутя, допрашивал его подробнее об его положении, я видел на его круглых, больших, чудацких глазах -- слезы. Но это было только раз.

Он и теперь шутит.

-- Что, Константин?

-- Да лошадь ободрал.

И он пытливо смотрит на меня, понимаю ли я его, понимаю ли, что для него возможны только два отношения к этому делу: зубоскалить -- это он готов, или дело -- дать ему денег сейчас же, завтра на базаре, в чистый четверг, пока еще не запахали мужики, купить лошадь.

-- Да вот, принес вам жизнь свою, на гулянках списал, -- и он из кармана полушубка достал свернутую в трубку исписанную бумагу. Я просил его написать мне свою жизнь.

Вот это описание его жизни.

**ЖИЗНЬ ДИРИВЕНСКОГО МУЖИКА. АДИНОКАВА КАСТЮШИ БЕДНЯКА.**

Жил я с младости и ни видал себе радости. Прожил я, Кастюша, тридцать пять лет, и принес нужды, и ни недостатков, и бет. Конца нет. Апец у меня прапал, как славна в глыбокою озира на дно упал, тичение таму времю прашло двадцать пять лет. Абнем ни писим и ни слуху никакова нет. А остался я с дедушкой жить.

Ну, дедушка мой так был крепка сирдит, что с ним никаким манерам нельзя было жить. Я ему хачю как нибудь угодить. А он

меня схватить за волоса и давай мене как собаку калатить. Ну, тем больше я бегством спасался летнюю парой у роце начевать, по двиночи бросался: после етава дамой приду. Ежели брань начую, то и еще начую.

вот задумал мой дедушка мене Аделить, девить чистей себе Аставил. А дисятую часть, панамарскую мне Атдал и совсем мене и здому прогнал, и ската дал лошадь и карову. А издених Хоть-ба один грош паганай на дорогу, у нас дених было многа. А и спастройки ни избы и ни двора и ни Аднаво кола. дедушка мне Атказал и слова ни сказал.

Я, Кастюша, подумал себя: дело моее дрянь, и гдежа Я буду жить? Ну всетаки, я, Кастюша, придумал, надо мне волосное правление к старшине ходить на своево дедушку попрашить, чтоба свай Абиды придоставить. А мене без последствия ни оставить, ну старшина в скарам время в деревню явился и к маму дедушки и под явился, все права придоставил, чтобы мене дедушка избу с двором поставил. Ну-ть построит, ни посреди диревни, А на самом краю. Только я, Кастюша, и знаю летом чужую скатину отганяю. А зимой каждый

день снег от гребая, савсем занесло, что никак в избу не пралезишь. А вот прашло мне двадцать лет -- стала мать камне приставать. Кастюшка тебе надомна женица. А Я матири говорю. На что мне женица, чтобы совсем разорица. Ну всё таки на том мать настояла. Жинился, жену себя узял нивиличка А круглоличка, толька ужасна едовита, да ктому жа плодовита: кажный гот ражая, ну за то никаво ни Абижая. А астались дитей у нас только двоя, ну она и по етих кажный день воя, что галодная судьба на нас настала, что у нас хлеба куска ни достала вот те-то, года. Я, Кастюша, проживал нужды и горя крепка нивидал. А -теперя Абносился кажный день. А буваю лапти разбиты, А галавашки полны снегом набиты, кажнюю ночь тирпеть мне насила вмочь, кашляю перхаю, А у нох своих ушану ни знаю: так ломють, что ноги мои крепка простужены. Живу так богата, что ни дай бог никому: босаты имею и нагаты навешаны полны шосты. А холоду и голоду полны Анбары. ну буду помнить осмидесятый год: даже нечевапаложить в рот чють нисчиво проглядишь, то день и два ни емши сидишь. А исче

у стало хлеба ни чюишь, то ни ужинамши на-  
чюешь.

Так он шутит всегда. И так он бедствует  
всегда. -- Мы давно с ним знакомы. Еще в 61  
году он ходил в мою школу. Он был старше  
всех ребят, знал грамоте по церковному, и по-  
тому с презрением относился к нашему уче-  
нию, и ходил редко, и скоро совсем бросил.  
Это было в то самое время, когда дед его с ма-  
терью отпихнул от себя и не выделил ему ча-  
сти. Отец его правда что пропал. Отец его, Ни-  
колай, тоже мне хорошо известный мужик,  
был старшим сыном деда Костюшки Осипа  
Наумыча. Это был здоровенный, ухватистый  
и смиренный мужик. Он в доме отца ворочал  
больше всех. Вздорный старик всячески тер-  
зал его и любил меньшого сына Петра. Когда  
Петр подрос, Николай рад был уйти на зара-  
ботки. И жил в Москве и в Питере лет 10, по-  
давая всё отцу, и изредка приходил домой.  
Николай был смирный, сильный, честный ра-  
ботник, и хозяева наперерыв звали его к себе  
и набавляли цепы. Он в те времена, за 30 лет,  
присылавал отцу по 70 р. В последнее служил  
он в царском саду в Гатчине, дорожки делал.

Потом на весну видели его на кораблях. Он грузил пароходы и по рублю в день обгонял и высылал отцу. И потом пропал. Говорили, что помер, говорили, что в Америку уехал. Так вот лет 5 после того, как пропал Николай, старик дед отпихнул от себя сноху с сыном и не дал им никакой части из скотины и из денег. Во времена моей школы Константин, 16--17 лет, обзаводился домом. И с тех пор жил так, как он описал в своей жизни. -- После того, как я его часто видал в школе и говорил с ним, я лет через 15 в первый раз поговорил с ним -- лет 5 тому назад. Я ездил верхом на лошади, чтобы не запотеть и не устать, купать свое тело в реке, в нарочно устроенной для этого купальне и возвращался домой. По дороге лесом я объезжал воза с сеном. Мужики везли на мое гумно скошенное, высушенное и собранное ими сено. И им не только не казалось странно отвезти ко мне и уложить хорошо мне в стога половину того сена, к[ото-рое] выростил Бог и за которым они с своими бабами и с недоедающими детьми от зари до зари потели дней 15; но они даже с особенной радостью везли это сено, зная, что после этого

им можно будет свезти и свое. И, судя по выражению их лиц и по тому, как они здоровались со мной, видно было, что им нисколько не противно смотреть на мою гладкую, сытую лошадь и на мое толстое брюхо, но что они даже с удовольствием встречают меня. И мне тогда было это не стыдно, а от их добродушных приветов стало весело. Лошадь моя пожалась от кустов и надела на воз и на мужика, прижавшегося к возу.

-- Здравствуй, Лев Николаич.

--А, Константин!

Рыжая бородка, усики, слабо растущие, как всегда у недоедающих людей, мало изменили его лицо. Те же чудные, играющие глаза, тот же широкий рот и толстый маслак скул, колен, локтей, лопаток и развалистая походка.

Давно мы не видались. Как поживаешь, Константин?

-- Ничего, живем, хлеб жуем.

-- Что же, дети у тебя?

-- Как же, трое.

Я знал, что он одинокий, и мне хотелось узнать, подросли ли уже помощники. Лошадь уже проходила мимо воза. Чтоб спросить ско-

рее, я сказал: что ж, подсобляют? Я уже объезжал его лошадь, так что только он мог успеть дать только один короткий ответ.

-- Оба пола краюшки подсобляют, -- крикнул он мне своим чудным, громким голосом.

У него были три девочки: 8, 6 и 3 лет. Так он шутил и до сих пор шутит. Но последнее время шутка осталась та же, но к шутке при- мешалась горечь.

В нынешний год он шутит также, но видно, что нужда подъела его, что только ухватка держит его. Он трещит. Он знает, что он слаб, и боится, как бы не ослабеть.

-- Ну что, как ты живешь? -- спросил я, когда вышел на крыльцо.

-- Да плохо, Лев Николаич.

Я нынче зимою часто видал Константина и знал, что он доел свой хлеб до рождества и пробивался кусочками, к[оторые] он скупал, когда были деньги, у нищих, знал, что и корм скотине от дождей осенних и от мышей, перевевших у нас всю солому, дошел у него на 2-й неделе, и он бился из корму, занимая и покупая, чтобы прокормить корову, лошадь и двух овченок, знал я то, что ему, как и многим оди-

ноким мужикам, в нынешнюю зиму было хуже всего то, что пешей работы не было. Лошадь без корма еле жива, не возит, а пешей работы не было. Если и есть какая, то надо далеко от дома уйти, а дома некому скотину кормить, снег отгрести. Я знал это и на днях видел, что на шоссе бьют камень. Одного из таких же одиноких бедняков, Чирюкина, я вчера видел на камне. Он тоже безлошадный, зиму сидел без дела, и как только открылась работа, взялся за нее. Я вчера видел его, как он сумерками уже по воде шел домой с камня. Он шел веселый. Все-таки кончилась скука -- сидеть без дела. Обгоняет он на камне, смотря какой попадет камень, от 30 до 40 копеек, работая без отдыха с утра до вечера. Дома у него с старухой 5 душ. Своего хлеба давно нет. Картошек нет. Коровы нет. Последнее молоко, то, которое было в грудях жены Чирюкина, увезли в Харьков в кормилицы сыну Товарища] Прокурора] С[удебной] Палаты]. Благодаря тому, что продали это молоко Т[оварищу] Прокурора] С[удебной] Палаты] и променяли на хлеб, семья еще жива. А то, если бы 5-ти душам дать вволю хлеба, то они

съедят 12 Г ф[унтов]. 12 Г ф[унтов] стоят 40 копеек. Стало быть, теперь он не заработает на хлеб; что ж бы было, когда не б[ыло] работы? Но он все-таки идет домой веселый, все-таки делает всё, что можно делать, чтоб кормиться. Я спрашивал у мужиков вчера: весь ли роздан камень. Мне сказали, что выкремен[ный] жид, который занимается этим делом от земства, не весь еще роздал. И потому вчера еще я подумал о Константине и, по старой нигилистической привычке мысли, в душе попрекнул Константина, что он не работает на камне. И теперь, когда он сказал, что плохо, подумал, что дело в недостатке хлеба, и сказал ему: а что я узнал, камень не весь роздан, что ты не пойдешь?

-- Куда я пойду? Мне уж не то от скотины, от бабы нельзя отойти. С часу на час ходит. Да и вдобавок того ослепла.

-- Как ослепла?

-- А Бог ее знает. Вовсе не видит. На двор вывожу. (Зачеркнуто: -- Что ж это, плохо дело.

-- Да уж так плохо)

Я молчал.

-- Вдобавок того лошадь последняя околе-

ла.

-- Что ты, когда?

-- Да вот третьего дня ободрал. (Зачеркнуто: И он посмотрел на меня пытливо, как бы угадывая, как я приму это. Если позубоскалить -- можно и позубоскалить) Он шутливо перекошил рот. Но с тех пор, как он раз при мне упустил слезы, я уж знал, что значит эта шутка -- надо шутить. Если не шутить, то надо или красть, или повеситься, или раскиснуть и реветь, как баба, говорил его взгляд, -- а тошно.

-- Что ж, плохо твое дело.

-- Да уж так плохо, что и не знаю, что делать, добро бы с осени, я бы и говорить не стал. А то зиму кормил. У себя, у детей урывал, посыпал. -- И он начал рассказывать, как у ней костреч сшиблен, болел и как до нутра пропрела, так и корм перестала есть, повалилась и пар вон.

Хотя после разговора с Константином еще (Зач.: мой вечерний разговор с ним и его женой) были другие события, к[оторые] нужно описать, а я только вечером пошел к Константину (Зач.: я имел его с Ларивоновыми ребятами)

тами и потом читал газеты к обедал, о чем надо рассказать), я теперь же расскажу всё относящееся к Константину], чтобы уже покончить с ним.

Вечером, часов в 7, я пошел к Константину. Он живет на самом конце деревни. Деревня улицей. Он живет на той стороне деревни, которая дальше выдалась в поле, так что против него никого нет. Рядом с ним избушка без двора. В ней живет слепой Резунов с дурочкой женой и двумя сиротами Шинтяковыми. Мальчик водит слепого. Девочка печку топит, печет, варит. Соседи нищие, но они-то вызывают чаще всего Костюшку. За ними дворовые, тоже 9 человек: один старик лакей на 9 р. жалования кормит, да сын самоварщик, больной, 2-й год в больнице -- ноги болят. 3-й двор Курносенкова, 12 душ, 2 работника, редко печеный хлеб едят, а то всё из сумы. 4-й двор Шинтякова. Стоит разломанный и пустой. За этими идут мужики исправные: Бочаровы, Осип Наумыч, Матвей Егоров. Но тут с края подряд пять дворов бедноты и на самом краю Костюшка. Во всех дворах был свет, только темно было в заброшенном Шинтя-

ковском, да в Костюшкином. (Зачеркнуто: Я нашел дорожку, черневшую по осевшим сугробам, и подошел к двору) Что в Костюшкиной избе не было огня, меня не удивило. Это всегда так было, почти всю зиму, и я знал отчего.

Избу дед ему поставил старую. Теперь прошло 20 лет, она сопрела на отделку. Нынче по зиме из дверной стены выпрело в углах берно и вывалилось. И всю стену отозвало в сени, и потолочина завалилась, чуть не убило. Костюшка забил дыры дисками. И прежде изба не держала тепла, а после этого уж вовсе выстывать стала. Они всю зиму по два раза топили. И света не жгли. Как вечер, уберутся, так на печь под кафтаны и шубы. -- Так было и нынче. Хоть в избе и тепло было, потому что на дворе тепло; но уж они так привыкли. Да и керосин незачем жечь, прясть, ткать нечего. -- Я осмотрел и ощупал палкой дорожку через осевшие сугробы и подошел к окну. В избе говорил что-то женский голос. Что-то об бабушке какой-то. Я не разобрал и постучал в окно. От снега и звезд было светло. Кто-то из них поглядел в окно и, видно, узнал меня.

Сейчас. Я подошел к двери и ждал. Ждал я долго, пока они не зажгли огонь. Потом вышел Константин, босиком, в рубахе и впустил меня. Я вошел, поздоровался и сел к лицевой стене между окон, об угол стола. Костюшка сел к дверной стене у торца стола. На столе, чисто сметенном и соскребенном, горела лампочка без стекла. Направо передо мной две девчонки лежали ничком на печи, облокотившись головами на руки, глядя на меня. Надежда, Костюшкина жена, стояла налево от меня в отворенной двери чулана у устья печи.

Надежда женщина мелкая, складная и милостивая, когда она порожня. Несмотря на то, что всегда я видал ее в грязной черной рубахе и в одной и той же отрепанной кубовой куртушечке, она, когда порожня, не жалка, а баба как баба, но на брюхатую на нее жалко смотреть. Брюхо у нее большое, и видно, что она самка хорошая. Она ходит легко, бережет свое брюхо. Всё питанье, все силы организма идут, очевидно, туда, в брюхо, зато уж всё остальное платится за это. Особенно лицо. Лицо худое, вытянутое, с морщинами продольными

около рта и желтое, как мокрый песок. В губах тоже что-то необыкновенное, как будто губы усохли, а зубы выросли, как у белки, длинные, острые, узкие. Что-то смертно-страшное и жалкое было и прежде. Но теперь и глаз нет. Глаза мутны, глядят и не видят. Я так долго ждал, вероятно, потому, что она надевала свою ту же синюю куртушку и платок на голову.

И когда она стояла вдалеке, то казалась баба как баба. Она в то время стояла в чулане и только после, когда разговор наш оживился, вышла, ощупывая косяк двери и печку, к хорам и стала поближе к нам у печки, под детьми. Константин с своей обычной развихляйной развязностью сидел у стола, положив на него оба локтя, и то почесывал руками в голове, то делал обычные жесты.

Сперва мы завели разговор о лошади.

— Кабы с осени издохла, и знал бы не кормил, а теперь что будешь делать? Работать не на чем. Люди поедут пахать, что станешь делать?

— Да она стара была?

— Года небольшие. Я ее выменил, только

окраинки вырезала. Вдобавок лошадь хороша. Это у меня девятая лошадь с тех пор, как меня дед отделил. И против нее не было ни одной. И возить, и пахать, и ухватка, и мягка, и вдобавок смирна. Девчонку пошлешь, и та, бывало, обротает, приведет. А это по нашему делу дорогого стоит. Что станешь делать? Кабы было с чего потянуть? А то весь тут. Как сшибешься, уж не выдерешься. Спасибо деду, отделил. Вон хоромы какие построил. Скопил таракана да жуковицы, а посуды крест да пуговицы. Кажется, помрет, и понесут, и не остановлю перед двором. Бог с ними. Одному сыну 700 рублей в банку положил, а мне ничего. Бог с ним. Псалтырь позовут читать над ним -- не пойду. Разве мой отец не наживал? Больше всех ворочал. Вот и наградил. -

Надежда вступилась.

-- Обидно. Терпишь, терпишь, да и согрешишь. Только Господь не велел зло помнить, а то правду, что помянуть не стоит. Бог с ним, не разжился деньгами-то. Дядя Петр и так говорит: Пора издыхать давно.

-- Не может быть.

-- До двух раз мне говорил. Тоже житье и

старику нехорошее, --заговорила Надежда. -- Намедни пришел хлеба просить. Что же, дедушка, или дома не кормят? -- Не кормят, друг. Что же садись, дедушка, хлебушка есть, съел кусочек такой-то с солью. Их не разберешь.

Я переменял разговор и спросил Надежду об ее глазах:

-- Что же это с тобой сделалось?

-- Глазушки потеряла, свету не вижу. Вот хоть палкой в глаз ткни -- не вижу.